

18+

Александр Леонидов
(Филиппов)

**Исторические
новеллы**



Александр Леонидов (Филиппов)

Исторические новеллы

«Издательские решения»

Леонидов (Филиппов) А.

Исторические новеллы / А. Леонидов (Филиппов) —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-641361-0

Исторические новеллы А. Леонидова включают в себя истории из жизни хеттского принца, китайского императора и шумерского царя. Относятся к самым древним эпохам человечества и построены на доступном нашей исторической науке материале.

ISBN 978-5-00-641361-0

© Леонидов (Филиппов) А.
© Издательские решения

Содержание

Львиная доля	6
И. Кучумов	15
Объятия Богомола	16
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Исторические новеллы

Александр Леонидов (Филиппов)

© Александр Леонидов (Филиппов), 2024

ISBN 978-5-0064-1361-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Львиная доля

Случилось всё, о чём будет рассказано, очень-очень давно. Египетские пирамиды ещё были юными, а по Малой Азии бродили арии, сильные и жестокие, покорители народов и укротители лошадей. Каково было жить в то время – вы узнаете из рассказа о юном Ттуте из рода Хали. Кто-то услышит в имени созвучие с будущим хеттским императором Тудхалией... Я не стану этого подтверждать, но и не отрицать не буду: кто же знает теперь-то детали юности грозного и великого Тудхалии?!

* * *

В окрестностях Адании, южного города Кисвадны, большая община лувийцев Палава сильно страдала от гигантского горного льва-людоеда, которого почитала бичом богов и опасалась даже звать по роду, аккуратно именуя его «клыки ночи».

Лобарь, научитель от харийцев, никогда не пропускал случая, чтобы показать могущество своего народа, а также расположить к себе лукавых и коварных рабов – лувийцев. Хари тонули в лувийском море – один хари, хоть и с железным клинком, приходился на сотню лувийцев, пусть и с медными мотыгами...

Потому на палавские склоны Лобарь Хала отправил не кого-нибудь, а собственного сына Ттута Хала с небольшим отрядом опытных горных охотников-хатти. Ттут прискакал на знаменитой хурритской колеснице под вечер, когда сладковатые дымы множества очагов смешивались на легком ветре и лениво перебранивались псы больших лувийских дворов.

Староста лувийского села принял сына научителя с поклоном и символическими дарами: гроздью мелких птиц, считавшихся особым деликатесом.

– Мы приехали вырвать у ночи клыки! – сказал Ттут Хала, пригибаясь под притолоку низкого входа в полуутопленный в землю гигантский общинный дом-сарай, где собирался заночевать.

Лувийское жилище для их огромных семей, в котором скученно и грязно проживало несколько поколений, представляло из себя толстостенный шалаш, возведенный над неглубокой ямой. Здесь горел большой общий родовой очаг, а по бокам – много малых хозяйственных очагов. В доме жили по несколько сотен лет, строить новый дом было весьма накладно – ведь под угол дома обычай требовал заложить ритуально убиенного младенца. Это делало из лувийцев домоседов: ведь как не ожесточает человека жизнь, но в глубине души он все равно помнит об эдемских реалиях, и хочет быть добрым...

– Воля твоя, научитель, священна! – униженно и лицемерно кланялся староста. Страх перед харями всегда боролся в лувийцах с ненавистью.

– Подай моим людям ячменного пива и женщин, а мне расскажи, где клыки ночи нападают! – потребовал Ттут Хала, пытаясь играть роль умудренного жизнью воина, хотя от роду ему не было и 18-ти лет...

* * *

...А может, так оно и было?! В древности выросли рано, и видели старика уже в 30-летнем человеке. Земля была другой, и люди были другими. Там, где нынче растет унылый кустарник на истоптанной тысячелетиями людских брожений почве, в описываемое время бушевал зеленой кипенью знаменитый кисваднийский маквис.

Непроглядна и непроходима была эта чащоба, тянувшаяся, как казалось, в бесконечность, словно накинутый на горный рельеф зеленый колючий матрас. Маквис – это горький коктейль, образованный диким сочетанием вечнозеленых дубов, сосен и лавров. Хариец в маквисе задыхался, словно его погрузили в воду, и стремился вынырнуть выше 2000 метров над

уровнем моря, где прохладнее, где то, что мы сегодня называем альпийскими лугами. Лувийцам же хорошо было и в Маквисе, который они проплешинами вырубали, выжигали и удобряли всем, включая жертвенную кровь своим жестоким богам-демонам.

Обычно харийцы спускались в пряное ароматное чрево маквиса бить или учить лувийцев (что по тем временам часто могло быть одной и той же процедурой). Но сегодня отряд «железных пик» Тутта Хали вошел в него, чтобы спасти лувийцев от хищника и подтвердить свою репутацию сынов Неба.

Тутт убил уже нескольких львов неподалеку от Адании. Он знал, что горный лев всегда имеет свой участок для охоты, с которого старается далеко не уходить. Наоборот, лев хочет, чтобы дичь сама приходила к нему на участок. Лев – великий мастер маскировки. В этой душистой путани лещины, лавровишни, кизила, самшита, вечнозеленых кустарников, увитых ломоносом, плющом, диким виноградом, лев сливается с природой и становится невидимкой. Только глаза его (если идти с факелом) – глаза могут сверкнуть серебряными зеркальцами в полумраке лунной ночи и выдать убийцу.

Горный лев (ныне в Анатолии истребленный) – вопреки легендам о нем – не гордый зверь. Если в воздухе будет пахнуть падалью, то он придет полакомиться ею, а если запахнет кровью – придет, чтобы добить раненое животное или отогнать волков от их жертвы. Лев ленив, и потому встретить его по заказу – нелегко. Его встречаешь тогда, когда совсем не ждешь. Он сам назначает свидания, но место встречи более-менее ясно – его охотничий участок.

Но у Тутта Хали были свои методы и уловки. Хитрец взял с собой несколько полотен грубой ткани, растянутой на самшитовых рамах, словно паруса. Это и были паруса охоты – их наполнял ветер. Воткнутые в щебнистый склон, паруса пропитывались свежей козлиной кровью, и ветер нес вдаль аромат, который расширил бы ноздри любого хищника.

Тутт Хали по лувийским рассказам нашел место средоточия львиных нападений и поставил «львиные паруса» там. Он напитал волокна ткани кровью и гонял самого младшего в отряде регулярно плескать из глиняного стакана новую кровь: на ветру ткань быстро высыхала...

Весь знойный день провонял харийским потом: рыли ямы, рубили твердое земляничное дерево на дреколье, связывали из жердяных охапок колючих «ежей», чтобы оставить проход только в одном, нужном охотникам месте. Ближе к вечеру Тутт Хали приказал своим людям снять одежду и натереться плодами дикого миндаля. Жирное эфирное масло этих плодов густым своим потоком миглом стерло из реальности запахи человеческой испарины, которые могли отпугнуть зверя. Одежду два юноши – Мурсила и Версила, братья из Адании, положили на плоский замшелый валун и мутузили диким миндалем, плюща его сливopodobные плоды мелкими камнями. Скоро в вечерней прохладе дух человеческий распался, рассыпался, и естественные благовония вытеснили его целиком.

Харийцы готовы были к встрече со львом. Но первыми на зов крови пришли мелкие средиземноморские алчные волки. Они – по мелюзговости своей – проходили через львиные ямы-ловушки, просачивались между «ежами» дреколиной завалинки и стремились к парусам охоты, поживиться дармовой козлятинкой.

Стае дорого встала эта дармовщина. Хищников с проклятиями били дубинками, кололи пиками и кинжалами, но они испортили всю охоту, потому что ночь напролет в стане харийцев стояли шум и мат.

Быстро пронеслась тревожная и бессонная ночь. Мальчику Супу Пилу из отряда волк размочалил икру левой ноги – вцепился и трепал, пока не добились, но и мертвый не сразу отпустил: клыки разжимали кинжалом. Мурсилу прокусили кисть руки, пока он раздирал волку пасть, да как-то неловко, неудачно...

Древний харий знал простой способ, как совладать с волком голыми руками: нужно сунуть ему кулак в пасть и засовывать все глубже, чтобы челюсти не могли сомкнуться. Тот,

кто имеет силу древнего хария, запросто может в итоге эти страшные челюсти разломить, разорвать на обе стороны, чтобы потом кичиться своей доблестью на охоте. Но кроме силы нужна ещё и проворность, а глупый Мурсила долго телился, и волк его ЩЕЛКАНУЛ. Теперь Мурсиле было стыдно, и он прятал прокушенную руку за спину, хотя над ним все равно посмеивались товарищи.

Пять волков набили. Трофеем для опытного охотника незавидный, потому что мясо у волков и тогда было вонючим, а шкура – и тогда низкопробной. Волков харийцы за соперников не считали, и разве что молодецким ухарством (которое так неудачно попытался продемонстрировать Мурсила) могли снискать на волчьей охоте хотя бы каплю уважения земляков.

– Проклятые! – ругался Ттут Хали, видя, как пурпурный плащ царственной зари уже надувается ветрами с моря. – Все испортили! И откуда их взялось столько, гадов!

Он порол и потрошил волчьи туши, и сердито выкладывал их на четыре стороны света поверх острокольного плетня из земляничного дерева.

– Вот! Нюхайте, твари! Будете знать, как сюда соваться!

Запах волчьей трубки не отпугнет льва, наоборот – привлечет, знал Ттут Хали. Когда в воздухе ночи пахнет рваными волками – лев предположит присутствие другого крупного хищника, а это вызов царственному падальщику! Лев поспежит разбираться – кто посмел в его владениях рвать его холопов.

Обычно горные львы не трогали волков: удобнее было отбирать у волков их добычу, чем самому скакать по криволесью за козами. Волки ненавидели львов, но не имели никаких средств с ними покончить, и всякий раз, низко набычив головы, с тяжелым рыком отступали, пятясь задом перед огромной смертоносной кошкой, не вкусив плодов своей погони.

Однако если во владения горного льва входил другой горный лев – он, возбужденный предстоящей схваткой, рвал все на своем пути. Мог под горячую руку нарвать и «букет волков», хотя львы, как и люди, не едят их желчно-мускусно вонючего мяса...

Поэтому, размещая на плетне волчьи выпотрошенные туши, Ттут Хали преследовал сразу две цели: отпугнуть волчий народ и привлечь царя зверей на отчетливую ароматическую струю неурядков!

Взошло солнце. Весь лагерь хариев был забрызган кровью разных животных, включая и вкрапления человеческой. Ближе к полудню припекло – и невыносимо засмердело. В здешних местах, где склоны казались застывшими в камне волнами морской бури, росло очень много дикой фисташки, дикой оливы, олеандра и других вонючих – на харийский вкус отпеченных горцев – субтропических растений. Дышать было тяжело: Ттуту Хали казалось, что его засунули в жбан с питьевыми настоями, да при этом прочно притерли крышку. Другим – которые были моложе и неопытнее Ттута – приходилось ещё тяжелее. У некоторых высыпали красные воспаления аллергий на местные микроскопические, глазу невидимые, но многочисленные поколы жестколистных кустарников и держи-дерева.

Эти растения в кисваднийской первобытной макве полосовали человека постоянно, при любой попытке движения через заросли, при любой работе: искал ли человек дрова – кололся о держи-дерево, уходил ли в сторону отлить – кололся о держи-дерево, дрался в темноте с волками – кололся о держи-дерево и всюду натякался на бритвочки жестколиственного кустарника...

Но к растительной густой вони, пропитавшей воздух, как суповая лопатка пропитывает своим туком воду в котле, примешивались смрады разлагавшихся животных, засмердевших на второй день «парусов охоты» и человеческих испражнений. И по малому, и по большому люди, конечно же, ходили рядом с лагерем, отходить далеко при условии, что подманивают льва-людоеда, было бы безумием.

Ттут Хали думал, что придется менять место стоянки, переносить паруса охоты повыше по склону, в зону кипарисовой рощи. Но не спешил: лев матерый, крупный, людей не боится –

раз нападает на них. Испугает ли его привкус человеческого кала в ежевечернем ужине тонкого обоняния? Наверное, нет. Лев ночью почует только многообразные запахи добычи и вызова, ничего, что всерьёз могло бы его отпугнуть.

В делах и хлопотах упал занавес душевой, с гвоздично-пасленовым запахом кисваднийской многозвездной ночи. От большой и желтой средиземноморской Луны остался на небе только узенький обьедок – демоны тьмы почти сжевали Луну. Но зато полыхали белым пульсом глаза ночи – крупные, притягательные звезды. Тут Хали поднимал голову к ним и с трудом заставлял себя оторваться, хоть и не сразу. Трудно было думать о земном – хотелось упасть на спину и смотреть, смотреть, смотреть, как гипнотически мигают эти вселенские маячки...

...Лев пришел. В эту ночь он пришел из своего верхнего убежища – скальной расщелины, переполненной костями, на которых льву особенно хорошо и мягко спалось. Лев на мягких лапах сбегал-скатился через полосу пихтового леса, через полосу букового леса и вышел в сытную макву, издав подманенный крепнувшим запахом пищевкусовой жизни.

Это был огромный и старый, очень опытный горный лев, машина убийства, в которой не было ничего лишнего для его дела. Собственно, охотиться на людей он и стал от старости, потому что оказался слишком неповоротлив для прежней дичи, а свой прайд потерял от неведомой болезни несколько лун назад.

Лувийцы могли бы, может быть, убить этого льва, если бы окружили его со всех сторон с дубинками и стали бы долбить без устали. Но в диком лесу, где его не окружить, лувийцы были бессильны перед ним, как перед богами. Их деревянные и медные (бронза была только у самых богатых) орудия ломались или отскакивали от лоснящейся шкуры зверя. Они ярили льва, но не наносили ему серьезных ран. С толпой лев не дрался, а одного-двух пастухов загрызть всегда мог без опаски.

Поэтом лев боялся подходить близко к поселку, но когда запахи поселка сами близко пришли к нему – отнюдь не испугался. Люди, на его взгляд, в этот раз слишком нагло вторглись в лесную жизнь, и должны были поплатиться. Не говоря уже о том, что лев был голоден...

...Шум беды Тут Хали услышал за минуту до нападения: лев спугнул семейство диких свиней, и они с яростным хрюканьем, на бегу гадя от страха, ломанулись прямо на плетень земляничного дерева. Напорившись на заостренные жала кривых кольев, перетянутых в крепостины, свиньи устроили ещё больше шума. В буквальном смысле своей рваной плотью они опрокинули плетень и понеслись, как мясной поток, с выпученными зенками, прямо по телам отдыхавших хариев.

Молодежь хохотала, ухватывая свежую ветчину прямо за задние ноги, это казалось кулинарным даром богов, но самому юному – Супу Пилу – было не до смеха. От клыков волка с трупным ядом в его кровь проникло заражение. Он уже не спал – метался в бреду и холодном поту, а тут ещё здоровенный секач наступил ему прямо на лицо копытцем и сломал нос...

Плохо себя чувствовал и Мурсила. Он старался не подавать виду, но трупный яд проник и в его кровь, и постепенно болезнь, исходившая из нагнаивающихся трепаных ран, брала свое.

Лев возник в проломе земляничного плетня, проход ему был свободен в самое сердце охотничьего табора. В свете узкого месяца и пышных южных звезд его глаза послали Туту Хали зловещий блик. Единственный в отряде бдительный воин, Тут метнул драгоценный (дороже золота!) дротик с железным наконечником прямо между бликов звериного взгляда...

Льву ещё не приходилось встречаться с жалом железа. Медь была неприятна, но не так болезненна. От медных наконечников Лев носил на себе несколько царапин, но не шрамов. Первым из шрамов, который удалось ему нанести человеку, был бросок Туту Хали. Дротик вспорол влажную розовую правую ноздрю зверя и раздрающе проскользил по массивному черепу...

Лев взвыл от нестерпимой боли, удесятерившей его ярость. Удары его могучих лап разбрасывали в стороны людей и свиней, но он был несколько дезориентирован. Для льва нос –

то же самое, что для нас глаза, и когда все запахи, кроме собственной крови, разом пропали, лев почувствовал себя, как ослепленный.

Версила подскочил сбоку и обрушил на голову льва удар комелевой палицей. Если бы Версила бы немного умнее или опытнее в охоте, он бил бы по хребту, чтобы сломать позвоночник. Но Версила специально прицелился в голову, думая, что так вернее добьётся своей цели.

А череп льва – самое прочное у него место. Удар страшной силой, комелем окаменевшей дикой сливы, не убил льва и даже не оглушил. Череп выдержал, комель соскользнул с него, и увлек Версилу за собой в падение. Лев, оглоушенный, но не оглушенный, рубанул по воздуху когтистой лапой: Версила, падая, взвыл так, словно ему разом вырвали все внутренности...

Ттут Хали был уже рядом. Он ударил льва пикой в бок, но деревянное самшитовое древко пики переломилось, удар в сердце зверя пошел криво, словно загнувшийся гвоздь при косом ударе молотка. Ттут что-то повредил зверю, это было ясно по ржаво-мяукающему рыку, но что именно – неясно, и, видимо, не такое важное, как сердце.

Лев всем корпусом развернулся на Ттута. В нимбе звездного неверного скупого освещения он казался ещё огромнее, чем был. Из рваной ноздри сочилась и капала кровь. Из рассеченного надбровия кровь стекала зверю в глаз. Лев был страшен и безумен: боль сделала из машины для убийства машину возмездия.

Лев прыгнул. Ттут, в свои 17 лет уже не раз коловший львов (правда, помельче этого, куда как помельче – метнулось у него в голове) – подыграл, навзничь упал, больно стукнувшись обо что-то затылком. У бедра он сжимал кинжал, рукоять которого упер в землю. Менее опытный охотник попытался бы конечно, прикрыть кинжалом себя, выставить его перед собой. Ттут знал таковых в Адании: всех их он под вой родни схоронил.

Дело в том, что сила и масса льва либо отклонят кинжал с легкостью былинки, либо (бывало и такое!) – лев «сядет» на лезвие кинжала, а рукоятка пробьёт охотнику грудь и выйдет у позвоночника...

Ттут не дал себя обмануть коварной судьбе, и держал свой длинный железный нож у бедра, с надежным упором в плоский камень. Жаркое и зловонное, шкурно-колючее навалилось на Ттута, обволокло собой удушьем смерти, словно бы завернули в ковер, не пропускающий воздуха. Кинжал не подвел: клинок вошел глубоко в зверя, пробив и шкуру и ткани его брюшины...

...Если бы это был лев привычных размеров, из тех, коих бивали возле Адании, то он тут же и сдох бы. Но это был лев Палавы, тень лувийской богини смерти, это был Клыки Ночи. Его колоссальные размеры были слишком велики даже для длинного клинка охотничьего кинжала Ттута Хали...

Измученный и наконец-то, напугавшийся, лев пружинисто отпрыгнул от Ттута, и некстати напоролся на кривоколье земляночного плетня. Лев, наконец, понял, что «клыки ночи» кусают уже не кого-то постороннего, а его самого. В эту ночь Клыками Тьмы по заслугам стал храбрый Ттут из рода Хали. Но лев лучше людей ориентировался в ночи. Он нашел в плетне пролом, через который его провели ценой собственных жизней дикие свиньи, и выпорхнул – буквально бабочкой, если не считать брызжущую из «ночной бабочки» вполне плотоядную кровяную – в свои охотничьи уголья...

* * *

Лев ушел с порванной ноздрей, рассеченным надбровьем, кровоподтеком на макушке и рваной раной в паху. Он проковылял к себе в верхнее убежище и залег там в расщелине на костях, перекрашивая их в красный цвет из обглодано-белого.

День упал на разрушенный харийский лагерь светом и жаром. Ттут целебными травами промакивал свои царапины, некоторые из которых оказались довольно глубокими. Походя, легчайшим касанием лев располосовал Ттуту лицо. Если бы лев вложил в этот удар чуть больше

силы – у Ттута уже не было бы лица. Но к счастью для сына табарны (так харийцы и хатти называли вожака табора – слово дожило и до наших дней) лев промазал, удара не рассчитал, и смертоносные когти лишь заделали кожу, не сумев её толком зацепить.

Юноше Супу Пилу стало совсем плохо. Ему вправили сломанный секачом нос, но болезнь все глубже проникала в кровь. Свалился днем и Мурсила. Тяжелые раны несли на себе даже более опытные воины, уже отметившие 15 зиму, Задар и Торанна.

Но харии мало внимания обращали на погром – каждый подходил к своему вождю табора, восхититься его мужеством, реакцией и сноровкой. Воины со знанием дела (больше напускным, чем реальным) осматривали царапины поперек лица Ттута и высказывались, как опытные охотники:

– Ишь ты! Такое вот опало у Клыков Ночи!

– Да уж! Обдул ветерком от лапы... Сама-то лапа промазала, это от неё только сквознячком дохнуло при пролете...

– Ещё бы на зерно поближе прошло – и был бы ты, табарна, без кожи... Снял бы с тебя лев лицо, как маску-харю на празднике со жреца...

– Да, табарна Ттут, угостить ты всех должен, это уж верно! Не каждый раз тебе горный лев в рабах с опалом служит!

И только Торанна, угловатый и сильный, из-за рваной раны не склонный к шутками, мрачно спросил по делу:

– Теперь-то куда, табарна?

– А сам как мыслишь? – прищурился на плоть плавающее Солнце Ттут.

– Мыслю – надо по крови идти. Зверюга весь свой путь до логова окропил... Пойдем да добьём!

– А о том не подумал, храбрый Торанна, что у нас много раненых и больных... – покачал мудрой головой Ттут. – С собой понесем, льву на закуску с похмелья вчерашнего? Или тут оставим...

– Ясное дело, тут оставим! – загомонили все охотники, включая и Мурсилу, которому явно предстояло остаться: он был пепельно-бледен, словно труп, и весь сочился тяжелой мутной испариной.

Ттут был старше и мудрее всех. Он был табарной – начальником одновременно и назначенным, и выбранным (именно так – при сочетании рода и выбора назначались вожди у харри и хатти). И он уже думал не о славе с доблестью, а о людях, которых ему доверила судьба.

– Решаю так! Раненых и больных отнесем в Палаву. Пусть лувийцы позаботятся об их здоровье, иначе на что нам рабы? Оставшись малым крепким числом, вернемся к табору, сюда, и отсюда пойдем по следу зверя, добывать в логове...

– День потеряем... – заныл Задар, мечтавший поскорее поквитаться с косматым обидчиком. – След потеряем... Свины склона слижут всю кровь, да ещё навалят дерьма поверх слизанного...

– А ты что предлагаешь? – сыграл в народоправца Ттут.

Задар не нашелся, что возразить: ростом он был велик, выше Ттута и шире в плечах (одно, впрочем, распоротое, ныне провисало), но умом весьма мал. Драться Задар любил, но в смысл драк никогда не вникал: бьют – значит, надо.

...Из толстых лиан нарубили носилки, сложив их наподобие кокона и перевязав поперек лианами потоньше. Тех, кто как Суп, сам идти не мог, взяли на носилки. Остальные болящие поплелись своим ходом. По дороге Ттут думал о политике: отец не одобрил бы таких галсов на охоте. Лувийцы – коварные, слабые, но жестокие рабы. Они покорны, пока видят сынов неба в хариях. Хариев мало. Покажи харии слабость – лувийцы могут восстать. Они ради своих гнусных обрядов не щадят даже собственных первенцев мужского пола; что они сделают с чужими и ненавистными хариями, если утратят страх?!

«Ты слушаешь сердце, сынок, а не разум! – предстало перед Ттутом лицо Лобаря Хали. – Ты сейчас придешь в Палаву, где живут лувийские смерды числом несколько сотен бездушный (ибо харии не всем оставляли право иметь душу). Ты припрешься без льва, за которым пошел с волшебным железным оружием, но сильно подранный, с расцарапанной рожей, словно семит-подкаблучник после ссоры с женой. Что станут думать о тебе носители рыбьей крови лувийцы? И что они будут думать потом, если льва ты так и не добудешь? Они могут усомниться во всемогуществе харийского духа...»

«Отец мой и господин, табарна Лобарь Хали! – мысленно, но по-жречески высокопарно возразил Ттут. – Ты сам учил меня и всех иных в Адании, что кроме СИЛЫ выжить должен быть найден ещё и СМЫСЛ жить. Ты тоже рисковал, когда сразу запретил резать рабынь над могилой знатных хариев и братьям жениться на сестрах! Это было покушение на устои древнего харийского духа, и тебе пеняли, но ты тогда отвечал: „Дух не един, но два, один Божий, другой злой, и дух Божий все оплодотворяет к жизни, дает силы роста травам и силы дыхания людям, а злой дух исходит из мест тлена и разложения“... Так учил ты, учитель от кисваднийского табарны, и сам табарна Адании. Лувийцы весьма гнусны: каждый из них кажется мне полем, которое распахла для себя община вшей, и гниды – семена их. Лувийцы не знают правды и не различают мести врагу от насилия над незнакомцем. Доселе, отец и табарна мой, мы держали их страхом, но страх – межа полей доброго и злого духов... Возможно, мы покорим их поклонению жизнетворящему духу более, чем страхом, кто знает?»

Палава встретила отряд хатти весьма настороженно. Лувийцы одновременно и печалились неудаче охоты на людоеда, и радовались провалу замыслов своих заносчивых господ. Ттут приказал старосте деревни разместить поудобнее раненых и больных, выложив их постели пучками дикого сельдерея (только этим в лувийских хижинах и спасались от вшей и клопов) и подать обед. Староста прятал в грязной бороде мерзкую улыбку: охотники, которые добывают дичь, – просят обеда! Ну не позор ли?

За обедом харийцам подали длинные волокнистые куски белого мяса. Харийцы с аппетитом съели его, не догадываясь, что это одновременно проклятие и унижение: их накормили мясом змей.

Само по себе оно вкусно, питательно и совсем не ядовито. Харийцы, особенно в переходах через пустыни и степи, много и охотно ели змей. Не то лувийцы; они поклонялись змеям, считали их священным животным. Подложить в пищу гостю мясо змеи считалось оскорблением и навлечением несчастий. Именно так привечали харийцев Ттута лувийцы с показными улыбками радушия. Соседство с львом-людоедом не радовало Палаву, но и соседство с хариями – тоже. Идеальным, по мысли лувийцев, сочетанием обстоятельств стала бы смерть льва от ран после того, как он истребит отряд хатти.

Подчеркнув старейшинам всю их ответственность за жизнь и здоровье оставленных на их попечение членов табора, Ттут поспешил налегке к месту ночного боя. Успели к полуразрушенному лагерю уже затемно. Нечего было и думать, чтобы идти за клыками ночи через ночь! Наскоро нарубили миртовых пахучих жердей и заделали пролом. После расставили караулы и легли спать.

Ттут не спал. Мысли об удаче и неудаче в судьбе хатти теснились перед его мысленным взором, раскрытым навстречу простору звездных алмазных россыпей на черном ворсистом бархате средиземноморской ночи.

Он, Ттут Хали, опытный охотник и воин, не убил льва-людоеда. Это неудача. Но и лев-людоед не убил Ттута. Это удача. Ттут ранил льва – и серьезно ранил, и это охотничья удача. Но Ттут явился перед лувийцами, словно бы созданными небом для прокормления вшей да блох, с подранками и безо льва. Это неудача. Удачно или неудачно проходит эта охота под кровавыми парусами? Если бы речь шла об обычном льве – решительно неудачно! Но если говорить о Клыках Ночи, особо крупном представителе вида горных львов, одном из послед-

них пещерных львов Анатолии – напротив, следует говорить о редкой удаче: ведь сами Клыки Ночи никого не смогли оттащить на логово госпожи Смерти. Хотя... Из-за укусов проклятых падальщиков Суп Пил скорее всего, умрет, думал Ттут. И тогда одна потеря все же явится. Может быть, не справится с зараженной кровью и сильный Мурсила – тогда будет уже две жертвы среди хатти, а их враг ещё живой!

* * *

Клыки Ночи умирал в своей расщелине. Зелень, сверлившая корнями слоистый серый камень его скалы, кивала от ветра над его мордой, выпачканной в засохшей крови. Рваная ноздря продолжала неистово болеть, рассылая по всему телу судороги. Но она не угрожала жизни. Жизни угрожала рана в паху, рана, почти достигшая кишок, рана, не прекращавшая кровоточить и истощать могучий львиный организм.

Так прошел день – в ворчании и бреду, когда Клыки Ночи думал, что он снова львенок и снова должен прильнуть к материнским соскам, чтобы набраться сил, быстро тающих от игр в старой пещере. Клыки Ночи урчал, пытаясь найти сосок кормилицы, и в итоге нашел собственную рану между задних лап. Он стал не только лизать, но и пить собственную кровь, чувствуя, что постепенно приходит успокоение и силы восстанавливаются...

Ночью белый свет иглами звезд проколол черную бычью шкуру небосвода. Клыки Ночи совсем ослабел, несмотря на усердно впитываемые собственные соки, он в бреду пил уже кровь вместе с собственной произвольно вытекающей мочой и не замечал нелепости своего действия.

Ночью – по острому сытному запаху крови его нашли волки. Стая, поредевшая в битве с хариями, потерявшая вожака, дезориентированная, блуждала по склону вверх-вниз и почуяла легкую, как ей казалось, добычу. Поскуливая по щенячьи, трусили неровными орбитами вокруг расщелины мелкие средиземноморские волки-лалу (французы и сейчас зовут волков «лялу», а славянская «ляля», «лялечка», «люлька» восходит оттуда же – ласковое обращение к ребенку – «волчонок мой»). То и дело мелкий зверь, у которого весь жизненный тонус ушел в формирование мощной морды, совался к Клыкам Ночи, но, чуя сквозь пьянящую кровавую пелену запахов львиный смрад и слыша порывивание, отбегал.

Постепенно, когда ночь с её шорохами чернильно сгущалась, стая лалу осмелела и совалась под самые лапы Клыков Ночи. Огромному зверю-людоеду казалось, что лалу – это его братья и сестры, львята его детского прайда, и он пытался, собрав остатки сил, играть с ними. Одного лалу, особенно пронырливого, дружески прихлопнул толстой лапой, прижал к земле. Зверь, чуя над собой запредельную мощь, вжался в землю, прижал ужи, поджал хвост и обмочился. Но Клыки Ночи не убил мелкого лалу, ему казалось, что это сестренка, которая пристраивается сбоку сосать материнское молоко...

...Постепенно, очень осторожно, пронырливый и глупый лалу, белой масти, задом отполз подальше из-под лапы, безвольно упавшей, и, взвизгнув, умчался прочь. Стая собратьев сперва поддалась его визглявой панике и тоже шарахнулась на сторону. Но, поплутав и понюхав корни здешних пихт и собственные хвосты, они вернулись, как переминающиеся с лапы на лапу ангелы смерти.

Серый лалу, наконец, набрался смелости и прынул на большого умирающего зверя, отхватил кусок львиной плоти от правой передней лапы Клыков Ночи, и был за это немедленно убит левой лапой. Конвульсивно лев выпустил мощные когти, которые прошили тельце серого лалу, словно игла швеи – тряпку.

Но на этот раз гибель товарища не испугала, а подзадорила большемордых волков. Они стали прыгать один за другим, рвали ещё живую, парную плоть своего звериного царя, выражая не только свой голод и преломление собственного страха, но и ненависть к тому, кто столько раз отнимал у них честно освежеванную добычу...

* * *

Ттут Хали вел свой поредевший отряд по следу, действительно, уже вылизанному дикими свиньями и прочей лесной нечистью. Кровь – даже сухая и запекшаяся, слишком питательна, чтобы в древнем лесу остаться невостребованной. Помогал «вялый след», как называли его хатти на своих охотах – завядшие листья и веточки, которые на бегу обломил большой обезумевший зверь, стремящийся уйти поскорее от места побоища.

Скорее по этим вмятинам в зеленой массе, чем по крови отряд хариев дошел до истоптанной волками террасе перед львиным логовом. Давно уже расцвел пышной золотисто-медовой и сладковатой прогретостью воздуха день, но стая лалу ещё не закончила своего пиршества. Для волков это был особый праздник: самый главный их конкурент в макве, заставлявший их столько раз голодать, был мертв, и они упоенно рвали ему шкуру, растаскивали его огромные филейные части по лужайке, грызли мощными челюстями массивные кости гиганта.

Яриба, воин 16 лет, громкими криками и горским посохом разогнал лалу, днем особенно трусоватых, и очистил дорогу своему табарне Ттуту Хали. Ттут вступил в храм бога Страшной Смерти, каким годами была для всего леса эта расщелина, набитая костями, задумчиво пнул по сторонам пару человеческих черепов...

Пели птицы, проставляя жизнь. Они пели неистово и заливисто, словно, как и лев перед смертью, сошли с ума. Ттуту грустно посетовал, что принести в Палаву тушу льва было бы куда эффективнее, и имело бы большее воспитательное значение для рабов, чем тащить туда это жалкое рагу.

Однако делать нечего: самые молодые воины собрали все, что имело отношение ко льву и сложили в дорожные плетеные из мелких лиан торбы (слово, однокоренное с хеттским и славянским «табором»).

Можно было уходить – дело, за которым пришли, было сделано, но Ттут медлил. Что-то новое, навеянное религиозными ересями его отца, медленно шевелилось странной идеей у него в голове. Понимая, что спутники не поймут, Ттут стал сам, лично, собирать человеческие кости в свою торбу. Хоть никакая традиция не говорила за это, по смутному позыву души молодой Хали решил вернуть рабам-лувийцам кости их родни для ритуала похорон.

...Теперь дорога шла только вниз. Из пихтовых лесов – в лавровые и кипарисовые, а оттуда – в сырую, банную макву, в которой, если долго не подниматься наверх, к альпийским лугам, у любого хария начинала гноиться всякая мелкая царапина, отказываясь в таком климате рубцеваться.

Измученные этим тяжелым воздухом и многодневной охотой на небывалого хищника, табор хатти остановился на берегу большого озера, образованного кристально-чистой горной рекой, попавшей здесь в каменную чашу складчатой местности.

Все, кроме Ттута, сохранявшего достоинство табарны, бросились к воде, жадно пили, поливали себе на головы, плескались. Через минуту самые догадливые хатти догадались поднести своему табарне долбленную из дуба флягу – попить и полить на лицо.

– Привал! – распорядился табарна, усаживаясь на песке и складывая возле себя оружие. —Торопиться больше некуда... И так уже со шкурой опоздали...

– Знатная была бы шкура! – мечтательно произнес Версила, располагая ромбом вокруг себя копьё, меч и дубину с кинжалом. – А теперь ты, табарна, по заслугам сделаешь себе ожерелье из львиных клыков... А нам и похвастать будет нечем...

– Была бы шкура, – согласился Яриба, – мы могли бы её повесить в храме, в дар богам... А эти мослы только собакам скормить...

2014 г.

И. Кучумов

Объятия Богомола¹

Повесть об императоре и вечности

Повесть молодого автора, студента Башгосуниверситета Александра Филиппова (не путать с редактором газеты «Истоки» писателем А. Филипповым, не имеющим ни родственных, ни других связей с автором данной повести), посвящена сюжету, который отечественная беллетристика почти никогда не затрагивала. Это эпоха китайского императора Цинь Шихуанди (246—210 гг. до н.э.). Повесть охватывает последний период его жизни.

Цинь Шихуанди – известная в мировой истории личность. Вступив в 246 г до н.э. тринадцатилетним мальчиком на престол царства Цинь, он много лет боролся за объединение всего Китая, расколотого тогда на несколько государств, под своей властью. Это удалось ему в 221 г. до н. э. С именем Цинь Шихуанди связаны грандиозные строительные работы (например, Великая китайская стена) и непрерывные войны на севере и юге страны. Он известен также уничтожением конфуцианских сочинений и казнью 460 ученых, последователей Конфуция. Государство, созданное Шихуанди, носило ярко выраженный характер тоталитарной деспотии: император был неограниченным главой страны и фактически являлся верховным жрецом.

«Объятия богомола» – произведение во многом философское, созерцательное, и это не случайно. Философия в Китае была не просто учением или занятием избранных, это был, скорее всего, стиль жизни, вошедший в плоть и кровь, массовое сознание населения. Философия в этой стране была не столько наукой, сколько искусством, а главной идеей были порядок, стабильность. Поэтому-то, кстати, европейцу трудно понять жестокость Цинь Шихуанди, уничтожившего всех своих политических оппонентов. Естественно, сегодня мы назовём время Цинь (да и нынешний Китай) недемократичным, но не будем забывать, что идея порядка, пронизывающая всю китайскую историю, заставляет считать самыми ужасными преступлениями не убийство, разбой или грабёж, а попытки идейного подрыва власти, подстрекательство, смущение людей недозволёнными, идущими вразрез с нормой (а сила традиции, авторитет мудрости предков в восточных обществах очень велики) речами. Эти качества ведущий отечественный китаист Л. Васильев особо выделяет как стереотип поведения, менталитет китайского народа, что и позволило Китаю в целостности пройти путь в мировой истории. Поэтому и провалился эксперимент Цинь Шихуанди, как в XX в. «культурная революция» не достигла своих целей – Китай отторгает экстремальные варианты развития.

«Объятия богомола» – повесть, конечно же, не только о Китае. Автор её взял Центральноазиатский регион в третьем веке до н.э. не для того, чтобы этнографически побродить по древней империи. Повесть А. Филиппова – это размышление о вечности, о смысле жизни, об ответственности человека за судьбы людей, о морали и нравственности. А китайская культура, китайская история, как бы ни были они похожи на Европу, дают богатую пищу для таких раздумий. Ведь затрагиваемые в повести проблемы – общечеловеческие, близкие всем и над ними стоит подумать.

¹ «Истоки» №19 (64), октябрь 1993 года.

Объятия Богомола

Повесть об императоре и вечности

Цинь Шихуанди, рожденный с именем Ин Чжен, в последние годы безвыездно проживал в своей столице Сянья-не, во внутреннем городе, где даже тропы сада были искривлены – дабы не проникла шагающая по прямой нечисть. Тысячи искусных стрелков, не уступающих в меткости великому И, сбившему стрелой лишние солнца, следили, чтобы ни одна птица не пролетела к покоям императора.

Цинь Шихуанди жил в атмосфере рабского преклонения, без-гласия и лести, ставшей с каких-то пор истощать его дряхлеющие силы. На нефритовой лавочке, на солнечном припёке Ин Чжен думал о вечности. Странными могли показаться развлечения царственного старика: он любил смотреть за кропотливой работой муравьев, подолгу вглядывался в ползущего жука, и в бредовом ослеплении не понимал: почему ему, императору Вселенной, без воли которого не передвигался ни один человек – вершина мироздания, почему ему, сотрясающему небеса, неподвластны букашка и червь. Хуанди пробовал царственно повелевать насекомыми, и, отчаявшись, говорил с ними просто по-человечески, однако те спешили по своим делам. Хуанди вставал на их пути во всё величии императорских пурпурно-нефритовых одеяний, но они даже внимания не обращали на него, в своей ничтожной мизерности оставаясь свободными созданиями. Хуанди, вознегодовав, давил бунтарствующих насекомых, но казнь была бессмысленной: казнённый жук не понимал, что гибнет от каблука императора, другие жуки не осознавали поучительности зрелища. «Неужели природа нас создала свободными? – пронеслось в мыслях государя. – И чем выше восходили мы по лестнице знаний, разума, тем дальше отходили от идеала; отчего можно поработить человека, выдрессировать собаку, приручить свинью – а жалким прахом наших подошв мы не можем сделать ничего?

Пань-гу, творец мира, неужели ты завёл такой порядок? Или наоборот, восхождение к разуму для нас, твоих детей, Это отказ от свободы? Где ответ, отец Пань-гу? – император, конечно, преувеличивал, называя Пань-гу отцом, ведь, как известно, люди произошли от вшей на теле бога-творца; оттого, может быть, рождённые паразитами, люди тянутся к власти, сулящей безделие. И, может быть, памятуя позорное прошлое, люди так легко превращаются в кровопийц... В тот день, когда солнце ярко сияло над существующей уже девять лет Поднебесной империей, Ин Чжен мог бы праздновать тридцать четвёртый год своего царствования – Ин Чжен, наверное, так бы и сделал, но не таков был Цинь Шихуанди. Власть становилась для него естественной, необходимой, как воздух, и от того незаметной, как воздух; император усваивал неблагодарность привычки, и, так как обладал всем – привычку неблагодарности. Весь мир вошёл в Цинь Шихуанди, стал его составляющей и от того как бы пропал, испарился, а точнее – растворился. Император лишил мыслей всех своих подданных – в сущности, лишил их жизни, и на огромных просторах империи осталось лишь только одно мыслящее существо, бьющееся в агонии собственного одиночества.

Что есть сумасшествие? Мысль, не находящая единомышленников. Но чем тогда тиран отличается от сумасшедшего? Цинь Шихуанди уничтожил всех инакомыслящих, всех еретиков – и во всё государство остался только один еретик – он сам. Ин Чжен попирает самого себя, менял взгляды – и раболепный скот у ног каждый раз менялся вместе со своим императором. И в этом было проклятие, ибо с каждым новым ин чженом толпа без любви и малейшего сочувствия попирает Ин Чжена старого.

Цинь Ши Хуанди мог отдать приказ убить самого себя – и приказ бы старательно выполнили: миллионы подданных – это миллионы пустых выхолощенных тел, кожаных мешков

со скверной и нечистотами, миллионы дыр, пустот, в каждой из которых угнездился Ин Чжен. Если человек потеряет память, и обретёт новую, то получится, что в одном теле угнездились две души. Ин Чжен сделал наоборот, он безразмерно растянул свою душу на тела целой страны. Эти тела – у них свои глаза, уши, но видит и слышит ими Ин Чжен. У них свои рты – но ест ими Ин Чжен. У них свои руки, но приказать работать им может только Ин Чжен. Эти тела, как кожа, сброшенная змеей, как яйцо, высиживаемое птицей. Они – просто комнаты в доме Ин Чжена, где в каждое окно видно разное, но видит всегда Ин Чжен. Он почти разучился разговаривать, поскольку – есть ли смысл петь ворить с самим собой? Слово – ложь, оно бессильно передать мысль. Понять друг друга могут только единомышленники, и всякое слово – либо пустое колебание воздуха, либо сигнал о том, что ближний думает так же, как и ты. Какие же единомышленники могут быть у божественного Ин Чжена?

Мын Тянь, покрытый ранами полководец, страх гуннов и страх перед императором – и в том и в другом случае живое и чистое, без примесей, воплощение?

Льстивый первый советник Ли Сы, пытающийся копировать императора, и создающий карикатуру на государя. Или давно сгинувший в тяжёлой опале первый сановник, торговец Люй Бу-вей, преданный, оклеветанный своим другом и подчинённым Ли Сы? Смешно! Цинь Шихуанди грустно усмехнулся. Он смотрел в изумрудное разнотравье парковых аллей, надеясь увидеть очередное непокорное создание. Предчувствие не обмануло его. Сквозь стебли пробиралась самка богомола, отличимая от возможных суп-ругов значительными размерами. Цинь Шихуанди недовольтно поморщился, не понимая, как такое крупное насекомое заползло в сад, буднично предрешил казнь садовника, но остался смотреть. Самка вела себя с непонятной тревогой, Ин Чжен никак не мог понять почему, и лишь когда появился Он – самец – богомол, император сообразил в чём дело: она изнывала от похоти. Всесильный инстинкт, понукавший её, как Хуанди понукает своих подданных, был для неё необъясним. О существовании этого инстинкта она не подозревала, как, видимо, не подозревала и о собственном.

Она делала, не зная как делает и не зная почему – просто делала и всё, по приказу высшей воли. Он был таким же, как Она, только меньше, и потому при встрече Она обычно съедала Его. Однако теперь слишком по-весеннему бушевала белая кипень сакуры и Он не старался спастись он Неё, как обычно, а смело и безрассудно полз навстречу. Животные не люди, они не скрывают неистовство страсти, которое пугает людей уже тем, что звучит откровенным приказом с небес и не трактуется разумом. Тяга людей к свободе заставляет людей сопротивляться инстинкту размножения, из тяги к свободе рождаются аскетизм и монастырь. Только в этом отнюдь нет божественного, это как раз бунт, против божества. Ибо люди знают как делать, но не знают – почему? Влюблённые богомолы не знают ничего. Вот они коснулись друг друга передними лапами, сошлись морда к морде. Он придвинул заднюю часть тела и вот уже Он и Она слились в единое целое, бесстыдно рассматриваемое Ин Чженом. Лапы их почти по-человечески обняли волнующиеся, подрагивающие тела, щупальцами-челюстями она коснулась его морды – получился человеческий поцелуй. И было совершенно непонятно где поцелуй перешёл в укус: Она пожирала Его в нервическом порыве страсти в экстазе акта творения, и Он не сопротивлялся, не пытался вырваться, подчиняясь всесильному закону природы. Так сливались гибель старой жизни и рождение новой, высшее наслаждение и высший ужас, и уже невозможно было отличить одно от другого. Всевышнему угодно было сотворить эту страшную притчу о поцелуе богомола, насмешку над нашей жизнью... Деспот противоестественен, ибо всё на свете стремится к подобному себе, и только деспот – к противоположному. Если в годы малолетия Ин Чжена страной управлял Люй Бу-вей, то подросший Ин Чжен быстро почувствовал, что маститый сановник ему мешает. Люй Бу-вей попал в опалу, казнены были все его знакомые, «Гости», то есть те, кто в доме Люй Бу-вея угнездился на правах приживалки. Лишь один гость бывшего сановника выдержал и даже укрепился при дворе – льстивый и прониравый Ли Сы. Так он стал героем в доме государя. Влияние Ли Сы росло и вскоре он

стал уже первым советником, ответственным за многие кровавые решения. Вот как описывает это историк Сыма Цянь:

«Первый советник Ли Сы сказал: «Ныне Вы, император-властитель, объединили под своей властью Поднебесную... Я предлагаю, чтобы... всех, кто на примерах древности будет порицать современность, подвергнуть казни вместе с их родом: чиновников, знающих, но не доносящих об этом, карать в той же мере». По мере старения Цинь Шихуанди всё больше приближал к себе Ли Сы, и за два года до смерти императора чиновник стал сяном, то есть канцлером Поднебесной.

Странным образом переплелись судьбы сяна Ли Сы и замечательного учёного, энциклопедиста и отшельника Сюна Цина. В трактате «Рассуждение о железе и соли» можно прочесть: «Когда Ли Сы был сяном в империи Цинь, шиху-ан доверял ему, и среди подданных для него не было второго такого (который мог бы сравниться с Ли Сы). Но Сюнь Цинь считал, что ему (т. е. Ли Сы) не следовало бы служить и предвидел, что он попадёт в неожиданную беду». Разные судьбы учёного и канцлера сливались в сложный венок истории...

Чиновник Су Ши, будущий великий путешественник, с низкими приседающими поклонами ввёл Сюнь Цинна.

– «Здравствуй, философ!» – усмехнулся канцлер, – Давненько не виделись! Н-да, не слишком-то ты изменился за все эти годы...

– Зато ты, могущественный Сы, сильно изменился! – вздохнул, поклонившись, Цин, – Воистину, всесильный, я вижу морщины и седину; Власть – пища богов, она разлагает человеческий желудок..

– Может быть и так, – уклончиво ответил Ли Сы. – В странные времена живём, Сюнь Цин... Прежде тебя и на ли не подпустили бы ко внутреннему городу Сяньяна, а теперь ты предстанешь перед Сыном Неба. Да если хоть мысль казнить тебя мелькнёт в его голове, слуги уловят её и разорвут тебя на тысячи кусочков!»

– «За что Сыну Неба казнить меня? – выдохнул побледневший Сюнь Цин. – Я был верен ему всегда, платил налоги, поклонялся небу...»

– «Ладно, ладно!» – перебил Ли Сы, – оставь свою праведность при себе, она тебе пригодится! Идём в сад, Сын Неба желает приветствовать тебя. Умеешь ли ты его приветствовать?»

Сюнь Цин отрицательно покачал головой. Ли Сы рассказал о сложном дворцовом обряде приветствия, затем взял учёного за локоть и повёл в императорский сад. Там, за тридцать шагов до нефритовой скамейки императора оба упали ниц.

– «Это ты, Ли Сы?» – спросил Цинь Шихуанди через плечл глядя в другую сторону. Ли Сы оторвал лик от земли и тихо проговорил:

– Я, о Неборождённый! Я привёл конфуцианца как ты приказывал...

– «Вот как! – император резко обернулся, так, что оба распростертых перед ним человека вздрогнули.

– О, Солнце вселенной...» – залепетал слова ритуала Сюнь Цинь, но император брезгливо поморщился, «Разве ты не знаешь, – заговорил он сурово, – что нужно отвечать на поставленный вопрос? Что, Ли Сы, старая змея, уже научил его науке увиливать! Пошёл вон!»

Ли Сы растерянный, позеленевший от у «аса, укрылся во дворце. Он уходил задом, то ли ползком, то ли на четвереньках и при этом ещё умудрялся кланяться. „Он надоел мне!“ – поделился император сокровенным. – Кстати, Сюнь Цинь, мне уже доложили твоё имя, так что не трудись знакомиться. Моё-то имя тебе известно?»

– О, государь, – пробормотал Сюнь Цинь – О, Неборождённый, Цинь Шихуанди...»

– «Нет! – закричал император, словно ужаленный. – Ложь! Ложь! Это не моё имя! Проклятый Шихуанди, ты пожрал меня! Почему я, самый известный во вселенной, потерял имя?! Говори, конфуцианец, как меня зовут!»

Сердце смолкло в груди Сюнь Циня, помутилось в глазах, бронзовые молотки застучали в темени, и ужасные пытки предстали пред ним. Ему показалось, что всё кончено, и пепельные губы бормотали механически: «О, владыка Поднебесной, с детства учился я говорить тебе только Цинь Шихуанди! Мой ум не знает иного имени тебе...»

Император, вопреки ожиданиям, смирился, затих. Медленно прошёлся он между розовых кустов и золотой дракон на его спине блистал в лучах заходящего солнца. «Меня зовут Ин Чжен, – сказал он тихо, и, казалось, пропал в его голосе металл владыки, потёк обычный воск человеческой речи. – Отныне, Сюнь Цинь, называй меня так! Я призвал тебя, потому что Бянь Цао, бог врачевания, покидает меня...» – «Долгие Лета государю!» – в испуге заговорил Сюнь Цинь, но Ин Чжен жестом остановил его. – «Не перебивай! Я знаю, что говорю и знаю, что тьма близка! Я достиг всего в этом мире, скажи, учёный муж, неужели я не могу избежать смерти? У меня есть тысячи рабов – скажи, Сюнь Цинь, где у человека душа? В какой железе притаилась она? Я вырежу её из своих рабов и они будут кормить меня! Кормить своей жизнью, ибо что их жизнь перед моей, если сами боги отличили меня от них?» Сюнь Цинь молчал. Цинь Шихуанди поднял его с колен. Учёный робко стоял перед владыкой и ноги его то и дело невольно подгибались, словно невероятная тяжесть давила на его плечи. «Жизнь... трон... – продолжал император. – В юности достаточно было избегать яда, теперь же нужно, что сильнее противоядия. Иди, учёный, *y* ничего не бойся! Отныне никто, даже я, не посмею тронуть тебя; ибо для меня тронуть тебя всё равно что тронуть самого себя, ты моя надежда на жизнь! Иди, Сюнь Цинь, копайся в манускриптах и скажи мне сколько нужно убить, дабы жить вечно?»

Пышным и мягким было царское ложе, но оно кололо бока Ин Чжена словно осколки фарфора, Не спалось. Чёрная бездна неизбежной смерти распахнулась перед маленьким стариком с шафрановой кожей, порочным, с глубокими морщинами греха протянувшимися через лицо. Жалкий, сутулый, беззащитный старик, поглощаемый черным драконом одино-

приносят его в жертву, чтобы спасти своё вонючее существование. И кто спросит его, повелителя вселенной, желает ли он быть пищей чёрного дракона? Кто смеет повелевать императору? Неужели жалкие китайские боги, типичный образчик которых – Цзын-чу, богиня отхожего места? Нет, Цинь Шихуанди сам властен над богами страны: он может закрыть храмы и богов забудут, он может запретить жертвы – и боги умрут от голода! Нет, боги боятся императора! Кто смеет? Или он не до конца истребил крамолу в Поднебесной? В обезумевшем воспалённом сознании Цинь Шихуанди огнём-пламенем взорвалось бытие, и в дыру с равными краями хлынул беспокойный бредовый сон. Ин Чжен увидел себя, убегающего, загнанного и злобную богиню Цзын-чу, олицетворяющую все потусторонние силы. Цзын-чу гналась за ним, отвратительная, дурно пахнущая и мазала его испражнениями; это она называла приобщением к мудрости смерти. А вот появился старый, нудный и отвратительный, как Цзын-чу, Чжоу-чун, хранитель добродетелей. Он шёл в своём зелёном халате с красной подкладкой и улыбался гнилым беззубым ртом. – «Убирайся, проклятый Чжоу-чун», – закричал император. – Я плевать хотел на твои добродетели!» Но Чжоу-чун растёт, становится всё больше, и его гнилое дыхание уже уносит Ин Чжена в тёмную бездну, на краю которой он стоит. Чжоу-чун бормочет свои никчёмные добродетели, годные лишь для рабов, и Ин Чжен проваливается во тьму. Кромкой глаза он замечает, что на императорский престол восседает его сын, кронпринц Фу Су. «Нет!» – кричит бывший император. – Нет!» Но никому уже нет дела до его крика. Ин Чжен впадает в непостижимое, то что люди по глупости называют смертью, но что на самом деле не должно иметь имени. Ибо всё постигаемое и нарекаемое на земле есть жизнь...

Цинь Шихуанди открыл свои узкие глаза-щёлочки, и холодные градины испарины скапывали на белки глаз. Император моргнул, сгоняя непрощенную влагу, она потекла по выпирающим скулам, словно слеза. Внезапное бешенство охватило Ин Чжена, бешенство бессилия.

Он вскочил и резким ударом сокрушил масляный светильник, оборвал полог кровати. Огонь охватил лёгкую, почти воздушную материю, запылал.

– Сюда, скоты! – заорал Цинь Шихуанди перекошенным ртом. – Сюда!

Зазвенело бронзовое оружие охраны, вместе с солдатами вбежал начальник царского выезда и как бы адъютант императора Чжао Гао. Император был охвачен безумием, ударил Гао по лицу: «Смерть! – закричал он, оглядываясь по сторонам, – Вон, посмотри, Чжао, она везде! Вон, она спряталась под кровать! Вон, она прикорнула в углу! Ин Чжен схватил бронзовый треножник и с яростью обрушил его в пустоту: «Врёшь! Врёшь, гнилая старуха, не тебе взять императора всей Поднебесной! Я велю отрубить голову богу Бянь Цао если он не откроет бессмертия!

Чжао Гао, рослый, молодящийся человек, закованный в узорчатую кольчугу, хорошо знал своё дело приближённого: необходимо было молчать, пока не спросят. Украдкой Чжао утирал кровь, сочившуюся из разбитого носа. «Боги не посмеют отнять у меня жизнь! Нет!» – истерически выкрикивал Цинь Шихуанди.

– Я могущественнее их всех! Никто в мироздании не сравнится со мною! Я упорядочил мир. Я превратил вшей Паньгу в людей! Без меня вернётся хаос!» Чжао Гао в ужасе съёжился, ожидая чем же закончится приступ сумасшедшего старика. «Это Фу Си! – вдруг повернула мысль безумца, – мой единственный сын Фу Си жаждет моей смерти, чтобы стать императором! «В покои обеспокоенного Ин Чжена стекались придворные. Вот и хитроумный Ли Сы в ярком перламутровом халате пробрался в опочивальню кошачьей мягкой походкой. «Клеймит кронпринца!» – тихо шепнул сяну Чжао Гао.

По лицу Ли Сы пробежала плохо скрываемая усмешка: пройдя с императором весь путь к вершинам, став вторым по богатству и знатности, канцлер потерял чувство меры и осторожности. В своей игре он откровенно ставил на младшего сына императора, Ху Хая и подкапывался под Фу Си. Цинь Шихуанди продолжал неистовствовать: «Чжао!» – приказал он властным, но дрожащим голосом. Чжао Гао немедленно вырос перед ним. «Веди! – приказал Ин Чжен. – Веди к проклятым бездельникам, дармоедам! Веди в гнойное сборище учёных, прямо сейчас! Посмотрим, как добывают они эликсир бессмертия для того, кто им роднее отца!»

По узким коридорам Сянь – Янского дворца побежала процессия придворных. Цинь Шихуанди с факелом в руках спешил впереди. Чжао Гао, оказавшегося хозяином положения, подмывало отомстить зарвавшимся конфуцианцам, но гнев императора мог вылиться во что угодно. Пожар, полыхавший в спальне, мог погубить дворец, но пожар в душе императора способен спалить страну. Чжао Гао послал солдата коротким путём в лабораторию бессмертия и передал им, чтобы они изобразили видимость кипучей деятельности, когда император подходил к прибежищу мудрости, все бумажные фонарики были зажжены и учёные носились по помещению взад и вперёд с лапками нетопырей, волчьими ушами, детородными органами крыс, бормотали, чуть ли не пританцовывая. Цинь Шихуанди, несколько успокоившись, прислонился к притолоке двери и обвёл общество прожигающими насквозь зрачками. Учёные попадали ниц. – «Встать!» – огрел их Ин Чжен, словно кнутом. Нет, даже вид их трудолюбия, ночного бдения не тронул безумства императора! «Я недоволен! – заговорил Цинь Шихуанди. – Моё тело всё больше отказывает мне! Когда вы добьётесь того, что мне от вас нужно? Неужели я так много прошу? Если человек живёт по-разному – кто долго, а кто коротко, то почему один не может жить очень долго, так чтобы стать бессмертным?

Он отдышался, перевёл дух и продолжал с новым запалом. – Ведь достиг же бессмертия вонючий Ли Эр, а он не был даже ваном! Неужели вы все глупее одного Ли Эра, погонщика буйвола? Но тогда вы не учёные, вы лжецы и достойны казни за мошенничество!»

– Государь! – заговорил один из учёных, Лу Шэн, – Мы неустанно ищем цветок чжи, дарующий бессмертие, но некие существа мешают нам.

– Что ты несёшь?! – резко закричал император, – какие существа?

Лу Шэн молчал, поскольку и сам слабо понимал, что сказал. Как учёный, он хорошо понимал, что лаборатория бессильна дать эликсир, но как китаец, он знал: правда – дракон, пожирающий целые города. Лу Шэн пугал Ин Чжена некими существами, о чём пишет Сыма Цянь, и, скорее всего, попросу тянул время. «Как дела у Сюй-ши Фу?» – обернулся император к Ли Сы. Сян торопливо забормотал, что Сюй-ши Фу уже почти разгадал секрет бессмертия, что нужны лишь только деньги, дабы достичь результата. «Ожирелый кабан! – возмутился Цинь Шихуанди. – Ему нужны деньги – да он ио-просту пропивает их и хвастается ничтожными успехами! Все вы хотите моей смерти! Я жду, когда отыщется бессмертие, а вы все – когда ко мне придёт смерть! Вы все её союзники! Вы ненавидите меня, своего творца, создавшего вас из праха! Хоу Шэн, ты желаешь моей смерти?» – император сзвал за косицу ближайшего к нему учёного и потянул.

– О, император! – возопил несчастный учёный Хоу Шэн.

– Я не знаю таких слов – смерть Цинь Шихуанди! – «Я знаю! – бормотал безумевший властный старик. – Вы все сговорились с Фу Су, вы думаете он вознаградит вас за смерть отца? Да будьте вы прокляты! Пусть вы властны над моей жизнью, но я над вашей – ещё больше! Слышите! Слышите!» – слабый голос старика не позволял Ин Чжену крикнуть так, как он хотел...

Утром Цинь Шихуанди вышел разбитым и хмурым. Его организм уже очень плохо переносил ночные бдения. К царскому столу в виде особой милости приглашены были начальник имперских лучников Чжоу Цинь Чень, и. конфуцианец Шунь Юй Чэ Юэ и сановник Ли Сы. Та- Q., кая милость встала всем троим костью в горле, ибо что ждать от полоумного правителя – никто не знал.

– Как идёт строительство нашего дворца в Эпане?

спросил Ин Чжен, приступая к еде. Ли Сы вкрадчиво объяснил, что невиданный по масштабам дворец почти закончен.

– Как войска, Чень? – повернулся император к Чжоу Циню.

Военачальник заволновался, расклеил липкие губы. Лицо его из шафранового сделалось пунцовым. «Всё прекрасно, государь! – сказал Чень по возможности бодро.

– Ваша мудрость соединила Поднебесную. Варвары усмирены. Ничто в прошлом не сравнится с вами. Предки, учащие всех, должны были бы учиться у вас, государь!»

Цинь Шихуанди досадливо ударил по столу.

– Неужели я так мудр, – спросил он, – что все дела мои благодны?

Фантом... Глупость, сказанная мною, становится мудростью, зло, сделанное мной – праведным делом! Ложь? Лесть? Но если все живущие подтвердят, что это правда? Кто мне судья? Предки? Их нет! Все книги в моих руках, я истреблю память о них. Потомки? Ха! На днях я помиловал 700 тысяч приговорённых к кастрации и они трудятся у Мынь Тяня на Великой стене. Но если бы не помиловал? Кто посмеет мне сказать о потомках?» Цинь Шихуанди закрыл. лицо руками и тяжело вздохнул. «Фантом!» – повторил он, – Чтобы стать мудрым, хогда поглупели окружающие. И что есть пища мудрости? Факты? Но факты – лишь послушные орудия во властных руках. Мудрецы истолковывают факты всякий по-своему и побеждает тот, кто наберёт больше фактов. Смешной фантом! Всё сон в нашем смертном мире, все вы мои сновидения! Я нуждаюсь в бессмертии, ибо вы все погибнете без меня, или точнее, погибнете со мной вместе! Вы неспособны изречь большее, чем я вложу в ваши уста!» Цинь Шихуанди опустил взор в чашку с рисом, тяжело вздохнул. «Мне одиноко с Вами! – продолжал он, помолчав, – Мне все труднее говорить, поскольку слова мои упираются в меня же... Я почти разучился разговаривать в мире послушных теней. Спорьте со мной! Ну! Конфуцианец Шунь Юй, я приказываю возражать мне!» Шунь Юй Юэ дрожащими руками отложил в сторону рисовые палочки, которые и прежде держал без нужды. «Государь! – начал он, запинаясь, ибо никакой ритуал не мог подсказать, как вести себя в таком случае. – Великий госу-

дарь! Вы слишком пренебрегаете советами древней мудрости, вы делите собой добро и зло – сами же указываете, что вы иногда несправедливы! Стало быть и вы взяли моральные нормы у древних шан и чжоу! Вы говорите, что люди – ваш сон, но ведь они были и прежде, при древних царях!» – Шунь Юй Юэ замолк, чувствуя, что сказал слишком много. Как истинный подданный он выполнил приказ и готов был умереть с чистой совестью. Цинь Шихуанди почернел лицом, закричал зубами. «Вот как? – угрожающе спросил он, – Военачальник Чень, ты тоже так думаешь?» Перепуганный Чень отрицательно замотал головой. «Государь! – выдал он, – вы впервые объединили Поднебесную! Как можно слушать древних, если они жили в войнах и раздорах? Да и были ли древние? Как мудро подметили вы, государь, мы тени из вашего сна... Мог ли сон существовать прежде своего зрителя? Это же явный абсурд!

– Черноголовые не подчинены вам! – напомнил Шунь Юй Юэ, упорствующий в исполнении приказа, – Не внимайте лести Ченя, государь, мудрость отринет лесть!»

– «Черноголовые? – вскричал Цинь Шихуанди, привстав, – Кочевники степей? Они платят мне дань!»

Шунь Юй Юэ, несколько перегнувший палку, не знал, что попал в большое место императора. Гунны, непокорные черноголовые гунны, против которых возводил стену Мын Тянь – стену выше гор, дабы отсечь, изгнать из мира, оттеснить из бытия в небытие кочевые племена, грозные гунны перечёркивали божественность Цинь Шихуанди. И не было никакой возможности подчинить их железной воле Сяньяна, ибо они существовали не существуя, растворялись в воздухе степей, когда войско императора шло в их пустую землю. Племена Бей-ди, Дун-И, Си-Жун гнездились на окраинах мира и терзали Пожне-бесную. «Советник Ли Сы рассудит нас! – тихо промолвил император, мрачный, как ночь, – Кто прав, Шунь или я?»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.